

**1 тур**  
**Аналитическое задание**  
**11 класс**

Ученикам 11 класса предлагается **письменное задание** аналитического характера. Необходимо **ВЫБРАТЬ** один из двух предложенных текстов: прозу или поэзию. Выполняя задание, ученики **создают текст ответа**. Ученик сам определяет методы и приёмы анализа, структуру и последовательность изложения своих мыслей. Важно, чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к главному – пониманию автора, смысла его высказывания, его позиции, способов, которыми он эту позицию выразил. Анализ текста проводится учеником для того, чтобы уточнить, углубить, развить первичное понимание, увидеть произведение как целостное единство элементов, несущее в себе смысл, – и на основе этого нового видения и понимания вступить в диалог с автором произведения.

Время выполнения – **не менее трёх астрономических часов**. **Максимальный общий балл за задание – 70 баллов**.

Прочитайте цикл **М.А. Кузьмина (1872 – 1936)** «Вы думаете, я влюбленный поэт?». Оформите свои впечатления и наблюдения в виде анализа этого цикла. При работе можете опираться на предложенные вопросы.

**М.А. Кузьмин**

\* \* \*

Вы думаете, я влюбленный поэт?  
Я не более, как географ...  
Географ такой страны,  
которую каждый день открываешь  
и которая чем известнее,  
тем неожиданнее и прелестнее.  
Я не говорю,  
что эта страна — ваша душа,  
(еще Верлен сравнивал душу с пейзажем)  
но она похожа на вашу душу.  
Там нет моря, лесов и альп,  
там озера и реки  
(славянские, не русские реки)  
с веселыми берегами и грустными песнями,  
белыми облаками на небе;  
там всегда апрель,  
солнце и ветер,  
паруса и колодцы,  
и стая журавлей в синеве;  
там есть грустные,  
но не мрачные места  
и похоже,  
будто когда-то  
беспечная и светлая страна  
была растоптана  
конями врагов,  
тяжелыми колесами повозок,  
и теперь вспоминает порою  
зарницы пожаров;  
там есть дороги  
обсаженные березами

и замки,  
где ликовали мазурки,  
выгнанные к шинкам;  
там вы узнаете жалость  
и негу,  
и короткую буйность,  
словно весенний ливень;  
малиновки аукаются с девушкой,  
а Дева Мария  
взирает с острых ворот.  
Но я и другой географ,  
не только души.  
Я не Колумб, не Пржевальский,  
влюбленные в неизвестность,  
обреченные кочевники, –  
чем больше я знаю,  
тем более удивляюсь,  
нахожу и люблю.  
О, янтарная роза,  
розовый янтарь,  
топазы,  
амбра, смешанная с медом,  
пурпуром слегка подкрашенная,  
монтраше и шабли,  
смирнский берег  
розовым вечером,  
нежно-круглые холмы  
над сумраком сладких долин  
древний и вечный рай!  
Но, тише...  
и географу не позволено  
быть нескромным.

1913

### **Вопросы.**

Как справедливо заметил Иосиф Бродский, “стихотворение – не монолог, но разговор писателя с читателем”. Посмотрите, насколько “умело” поэт строит свои “реплики”.

В чём особенности композиции (построения) стихотворения?

Обратите внимание на реминисценции и аллюзии в поэтической речи. Какой эффект они создают, чему служат?

Выполните целостный анализ 30-й главы «Лампада теплится» романа Б.Н. Ширяева «Неугасимая лампада», приняв во внимание различные аспекты его художественной организации:

**Б.Н. Ширяев**

### **Глава 30. Лампада теплится**

Спустя несколько лет по выходе из Соловецкого концлагеря, я читал историю русской литературы в советских вузах. Тот, кто представляет себе эту работу хотя бы отдаленно напоминающей, не говорю уж о Московском Императорском университете даже пресловутой эпохи министерства Кассо, но и канувших в вечность времен Магницкого, горько ошибется.

Свободная человеческая мысль при Магницком была скована. И только. Но она не была подменена обязательной, преподанной лектору свыше ложью, целой системой извращений, ловких, детально-продуманных подтасовок, сложных, подчиненных единому плану построений.

Самое честное, что может делать советский лектор – четко и сухо излагать допущенные цензурой факты и относящиеся к ним положения советской марксистской критики, не крича порожденного социалистической подлостью ура и не раболепствуя перед фетишами гнуснейшего из времен.

О прочем – молчание.

Мысль студента не только замкнута, как это пытался, но не мог сделать Магницкий, она направлена по определенному пути. Сойти с него – значит, погибнуть почти наверняка. Немногие находят в себе силы для этого подвига.

\* \* \*

Однажды, когда я проходил по коридору института, меня догнал студент и молча пошел рядом, выжидая выхода из обычной во время перерыва толкучки. Так бывало часто, когда предвиделся внеочередной контроль райкома комсомола или спецотдела НКВД. В этих случаях студенты всегда старались предупредить меня брошенной на ходу фразой. Я ждал ее и теперь, но оказалось иное.

– Прочтите, когда у вас будет время, – сунул он мне толстую тетрадь.

Конечно, стихи. Это тоже бывало часто и являлось очень тяжелым дополнением к и без того трудной, напряженной, глубоко тягостной, полной компромиссов с совестью работе.

Читать в немногие свободные часы топорно и пошло, рифмованные переложения статей “Правды” мало радости, а еще меньше ее в составлении пустых и столь же пошлых рецензий с советом учиться у Пушкина и Маяковского... Но принять надо. Иначе – обида, возможен и донос.

На этот раз дело обстояло лучше: стихи оказались довольно грамотным технически и глубоко искренним подражанием Лермонтову. Эпиграфом к ним стояла его строчка:

“Я мало жил, я жил в плену”...

Мятежная тоска Лермонтова, томление одиночества, порывы к неведомым далям, скорбные предчувствия, нежная грусть созерцания – всё это было воспринято, прочувствовано автором глубоко, юношески пламенно, чутко, и не его вина в том, что мощный гений ушедшего века подчинил своим формам душу подсоветского юноши.

Я решил не писать пустых слов, а, выбрав подходящий момент, поговорить с юным поэтом. Он был хорошим студентом, явно стремился не к получению диплома, а к знаниям, прочитывал не только требуемое программой, но старался, поскольку это было возможно, взять шире, глубже, даже прорваться в запретное.

Удобный момент подвернулся довольно скоро. Мы случайно встретились в библиотеке и остались одни в ее задней комнате. Заговорили о Лермонтове и вдруг...

– Поймите меня, Борис Николаевич, не советский я человек, не советский, – схватил меня за руку студент, – тяжело мне, ненавижу я всё, дышать нечем и... сам не знаю... чего хочу. Жить хочу!

Что мог я тогда ответить крику, воплю этой души, рвавшейся из плена? Что мог я предложить ей? Фиговый листок компромисса? Юность не приняла бы его. Мудрость углубления в себя, отрешения от окружающей гнуса? Восемнадцатилетнему, по праву своих сил рвущемуся в жизнь? Да и мог ли я говорить прямо, откровенно, без страха за себя и за него?

Самым честным было сказать:

– Никогда и никому не говорите того, что сказали сейчас.

– Да ведь я вам только...

– И мне тоже.

Студент поднял на меня свои лучистые, голубые, как васильки, широко открытые глаза, потом опустил их на тетрадь.

– Ну, а если в редакцию снести... как думаете, напечатают что-нибудь?

Я покачал головой.

– Не стоит. Только лишний раз тяжело вам станет.

– Почему? Напечатали же Никонова? Разве мои стихи много хуже?

– Не хуже, а много лучше. Но, вспомните, что писал Никонов?

– Да, конечно. Он колхоз восхвалял, а я так не могу. Вот, зарежьте меня на этом месте, всё равно не выйдет.

– И не надо, чтобы выходило. Никонов мне тоже свои стихи давал, целых три тетради. Все они одного вашего стихотворения не стоят. Но... берегите вашу ценность в себе, она вам пригодится... в этом поверьте мне!

Голубые лучистые глаза снова поднялись на меня.

– Когда?

– Не знаю. Думаю, что всегда. Всю жизнь, Сегодня, завтра, послезавтра...

– Эх, не того мне хочется, не того... Не себе, а людям! Понимаете? Не в себя, а наружу!

Больше мы не разговаривали с ним наедине, но на лекциях я всегда видел эти большие, ясные, как лесные озера, устремленные на меня глаза.

– Когда же ты скажешь нам правду? – спрашивали они. – Вот это, самое главное, то, для чего нужно жить, стоять жить... хочется жить... Когда?

Встречая их лучи, мне становилось стыдно. И за себя и за... Россию.

В первые дни войны его, как и большую часть студентов старших курсов, призвали. Мы прощались, говорили пошлые, вязнувшие на зубах, мертвые, пустые, ненужные слова.

Потом я узнал, что он был убит в первых же боях. Избранный им эпитафия “я мало жил, я жил в плену” оказался пророческим.

\* \* \*

Так близко, как с этим студентом, за всё время моей педагогической и редакционной работы в Советском Союзе мне приходилось соприкасаться редко. Но попытки к такому сближению, стремление взять от моего опыта прожитой жизни то, что было скрыто от них, замкнуто, запретно, то, чего жадно требовали юные души – было много, чаще всего они шли по руслу поэзии. Иногда она была лишь наивной маскировкой вопросов, давивших изнутри молодежь.

– Вот, у меня тут трех строчек не хватает, – протягивает мне вырванный из тетради листок студент. – Вы, наверно, помните. Память у вас замечательная... скажите, я запишу.

На листке Гумилев, Есенин (чаще всего появившийся лишь раз в печати и исчезнувший “Черный человек”), Ахматова... Реже М. Волошин. Эти листки бродили по рукам, переписывались друг у друга. Я видел целые тетради таких не запрещенных официально, но изъятых из обращения стихов. Попадались и ненапечатанные стихи, запрещенные, “Ответ Демьяну” и непристойные, колкие эпитафии Есенина, рожденная еще в 1917 г. “Молитва офицера” и другие неизвестных мне авторов.

Такие же тетради в руках советской вузовской молодежи видели и многие мои коллеги, причем все мы сходились, отмечая одну характерную подробность: в конце 20-х и начале 30-х годов подобных тетрадей и листков не было совсем. Во второй половине 30-х годов их число стало быстро возрастать.

Собиратели стихов принадлежали обычно к поколениям, рожденным после 1917 г. или немного раньше его. Старшие – в советские вузы принимают до 40 лет – как правило, таких стихов не собирали, за исключением редких единиц из семей старой интеллигенции. Тетради попадались даже и в старших классах средней школы, чаще у мальчиков, чем у девочек.

Будучи уже в эмиграции, мы услышали еще об одном ярком и парадоксальном факте того же порядка: единственный сборник стихов А. Ахматовой, вышедших при Советах, был выпущен по приказу Сталина, вызванному просьбой его дочери Светланы. В литературных кругах Москвы он и ходил под кличкой “подарок Светлане”. Светлана Джугашвили принадлежит к тому же поколению... Она тоже была советской студенткой, хотя и особо привилегированной академии. Но из той же академии вышел Климов.

За год до войны в программу выпускного класса десятилетки и педагогического училища включили “Войну и мир”.

Не подлежащая оглашению инструкция требовала “заострить внимание учащихся на проявлениях героизма и патриотизма офицеров и солдат”. Образ русского офицера впервые в советской школе получил право на положительную оценку. До того замалчивался даже подвиг Миронова, умело заслоненный великодушием Пугачева.

У профессоров и преподавателей развязались руки и языки. И не только у них, но и студенты заговорили своими, а не казенно-рецептурными словами.

В педагогическом институте, где я преподавал тогда, я затратил на “Войну и мир” два месяца, в педагогическом училище два с половиной. В общей библиотеке этих учебных заведений был только один комплект этого произведения Л. Толстого, не запрещенного до тех пор, но... ограниченного для обращения.

Я забрал все четыре тома себе и выдавал их после лекции строго в очередь на очень короткие сроки. Лучшие места мы читали в классе по моему личному экземпляру.

“Война и мир” открыла советскому студенчеству новый мир. До того это исключительное произведение Толстого читали немногие, и вряд ли сам Лев Николаевич мог предположить, что его эпопея-хроника станет в грядущих годах подлинной бомбой революции воспрянувшего Духа в умах и сердцах русской молодежи.

Читали ночами, собираясь в кружки. Рвали книгу друг у друга на час, на полчаса.

Синее, беспредельное небо над Аустерлицким полем открылось тем, кто видел в нем до того лишь советскую мусть и копоть пятилеток. Нежным цветением отнятой у весны черемухи дохнул первый поцелуй Наташи... Непонятное, еще не осознанное, но влекущее, торжественное таинство духовного преображения призывало к себе со смертного одра князя Андрея...

– В начале всего – Слово, и в Слове – Бог!

Окончив чтение и разбор “Войны и мира”, я задал контрольную тему: юношам “Формы героизма по “Война и мир””; девушкам – “Формы любви по “Война и мир””. Сначала студенты были озадачены, даже ошеломлены такой необычной для советской школы, еще недавно немыслимой “постановкой вопроса”. Потом... потом, проверяя тетради, я впервые за всё подсоветское время услышал подлинные, звонкие, смелые и радостные голоса юности, прочел слова, найденные в сердцах, а не в передовицах “Комсомольской правды”.

\* \* \*

Вскоре я услышал их снова. Началась война, пришли немцы. Институт был закрыт. Я выпускал и редактировал первую и самую крупную из выходивших на Северном Кавказе свободных русских газет (цензура немцев касалась лишь военного материала). Бывшие студенты скоро нашли дорогу в редакцию. Статей приносили мало, но много писем, вопросов, требований... и, конечно, стихов!

Маски спали. Чары оборотня на короткий, только пятимесячный срок потеряли силу для нашего города. В наскоро оборудованных церквях говели, калялись, исповедывались и причащались. В редакцию несли письма. В большинстве спрашивали, в некоторых тоже исповедывались. Иногда не желали показывать свои лица, приносили, оставляли у входа и скрывались.

Требовали ответов на самые разнообразные вопросы, начиная от бытия Божьего и кончая правилами хорошего тона (“стыдно ведь перед немцами, а мы не знаем”... ) Во многом и калялись. Чаще всего в грехе вынужденной лжи и другим и себе самому.

И во всех этих письмах, вопросах, исповедях светилось вновь вспыхнувшее бледное пламя лампы последнего соловецкого схимника, пробудившейся и оживающей совести – неугасимой лампы Духа.

\* \* \*

В областном южном городе, где я жил, ко времени прихода немцев осталась только одна церковь, кладбищенская, за полотном железной дороги. В нее приходили лишь те, кому или нечего уже было терять или по возрасту ничего не угрожало.

В течение первых двух недель по приходе немцев в городе открылось четыре церкви. К концу месяца во вновь образованной епархии было уже 16 церковных общин. Образовывались и еще, но не хватало священников. Резерв их, таившийся за бухгалтерскими конторками, у прилавков хлебных ларьков и даже в ассенизационном обозе, был исчерпан.

Все эти приходы возникали “снизу”: собиралась группа верующих, искали и находили священника, очищали обращенный в склад или клуб храм, украшали его сохраненными на чердаках и в подвалах иконами, освящали, подбирали хор... Прежних полуразрушенных церквей тоже не хватало. Приспосабливали под храмы опустевшие клубы и залы учреждений.

Репортеры нашей молодой газеты бывали на службах и давали о них заметки и очерки. В них единогласно отмечался наплыв молодежи. В общинах накапливались полярности – старость и юность, средний возраст составлял меньшинство.

Что влекло молодежь в церковь, установить более чем трудно. Это был сложный комплекс чувств, в котором было и стремление к запретному прежде, было неизжитое национально-религиозное глубинное чувство, была и жажда подняться над уровнем повседневности – устремление духа ввысь, но было и простое любопытство, была и потребность в необходимых человеку зрелищности и музыке.

Молодежь охотно шла в хоры и прилежно училась церковным напевам и их словам. Ушедшие из жизни поэты-псалмопевцы, творцы проникновенных молитв и выпретенных акафистов пробуждались и выходили из могил. Души боговдохновенных слов оживали.

Скоро в новых общинах начались крещения взрослых. Сначала крестились одиночки, потом группами. В большинстве это были девушки. Среди них нередко бывшие комсомолки. Некоторых я знал поверхностно по институту, одну из них ближе. Ее звали Таней К.

Семья Тани не была религиозной, и она, родившаяся в годы НЭП-а, никогда за всю свою двадцатилетнюю жизнь не была в церкви. О Боге дома не говорили ни за, ни против. Он был просто сам собой, без борений и надрывов вычеркнут из обихода мысли и чувства. В школе, в пионеротряде и позже на собраниях комсомола религию трактовали так, как указано в “учебнике” Ярославского, но говорили о ней только по обязанности, без положительного или отрицательного стимула в самих себе.

Представление о Творце мира и человека, вернее лишь мысль о Нем, пришли к Тани из прочитанных ею книг, наиболее ярко со страниц Тургенева.

– Почему Лиза Калитина в монастырь пошла? – остановила она меня, догнав в коридоре после лекции. – Именно в монастырь, а не за границу куда-нибудь уехала или в Москву?

– По понятиям того времени, она совершила грех и пошла его искупать, – ответил я трафаретной фразой.

– Какой же грех? В чем он? И как искупать? Зачем? Что такое – искупать? – посыпались на меня ее страстные вопросы. Она говорила быстро и жадно, именно жадно хотела ответов. – Почему вы ничего не сказали об этом на лекции?

– Богословие не входит ни в нашу учебную систему, ни в мою компетенцию, – плоско отшутился я, чувствуя, что этой шуткой я бью по какой-то живой ране, но это был всё же самый мягкий и безболезненный из всех возможных ответов.

– И о “Живых мощах” ни слова нам не сказали! Даже не упомянули. Почему? – повторила она настойчиво, почти злобно.

– В программе их нет, а для работы вне программы нет времени у меня, – ответил я тоже почти со злобой. – Думаешь, не сказал бы иным студентам.., а не вам, диаматовым комсомольцам! – добавил я мысленно.

Второй раз я говорил с нею в местном театре на представлении “Гамлета”. Спектакль был средне-провинциальный, сам Гамлет – очень плох, а Офелию играла молодая свежая артистка. Играла трепетно и скромно; Офелия жила.

В одном из последних антрактов Таня подошла ко мне и снова посыпались ее требовательные, упорные “почему”. Ее что-то жгло внутри, что-то толкало. Куда? Этого она не знала сама.

– Почему она сошла с ума? Почему потонула? Почему Гамлет не поднял дворцовую революцию? Это было бы легко сделать.

– Ну, уж с этими вопросами вы лучше к Семену Степановичу обращайтесь, – отмахнулся я, назвав имя коллеги, читавшего европейскую литературу. – Он на Шекспире специализировался.

– Обращалась, – ответила Таня уныло, – он нам даже внекурсовой доклад сделал о Гамлете... Только опять ничего нужного не сказал. Эпоха и среда... отмирающий феодализм и наступление торгового капитала... Это мы и без него знали. Но что ж? Ведь не из-за торгового же капитала Офелия в реку бросилась? – добавила она с горькой усмешкой.

В комсомоле Таню считали стойкой в отношении комсомольского жупела – “бытового разложения”, но склонной к “уклонизму” и даже к “бузе”. Поступавшие сверху директивы она встречала или с подлинным энтузиазмом или с протестом, порою даже нескрываемым. Тогда ее приходилось “уламывать”, “дорабатывать” и даже “призывать к порядку” – тяжкий грех для правоверной комсомолки.

Репортер, дававший очерк о крещении Тани, с ней самой не говорил, а обратил главное внимание на церемонию и присутствовавших на ней. О Тани он сказал лишь, что в момент крещения “глаза ее светились, и по лицу текли слезы”... Эти слова вряд ли были только риторическим украшением заметки. Я помню синие звезды вопрошающих глаз, устремленные на меня в коридоре института. Да, они могли светиться отблесками Неугасимой Лампады. Тень членского билета ВЛКСМ была не в силах закрыть от Тани ее лучистого сияния.

**Вопросы.** Определите тематику и проблематику произведения. Обоснуйте свой выбор.

Какое настроение вызывает у вас произведение? Какие размышления навеивает? Какие ассоциации рождает? Какова роль диалога?

Каково авторское отношение к изображаемому? Что можно сказать об особенностях авторского взгляда?

Какая идея положена в основу произведения? Как она реализуется?